

Александр Левитов

Степная дорога днем



Александр Иванович Левитов

Степная дорога днем

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=657335

А. И. Левитов, Сочинения в одном томе: Гослитиздат; М.; 1956

Аннотация

«По навозному, дрожавшему под ногами мосту я перешел с луговой, низменной стороны Дона на нагорную. Сырой предутренный холод, обыкновенно веющий от реки, окончательно прогнал от меня дремоту.

С моста по крутому каменистому въезду я взобрался на высокую гору. Передо мной была маленькая господская деревня с десятком развалившихся изб и барским флигелем в три окна, а позади меня и с боков спящая степь...»

Содержание

4

Александр Иванович Левитов Степная дорога днем¹

* * *

По навозному, дрожавшему под ногами мосту я перешел с луговой, низменной стороны Дона на нагорную. Сырой предутренный холод, обыкновенно веющий от реки, окончательно прогнал от меня дремоту.

С моста по крутому каменистому въезду я взобрался на высокую гору. Передо мной была маленькая господская деревня с десятком развалившихся изб и барским флигелем в три окна, а позади меня и с боков спящая степь. Неоглядная окрестность, вся закрытая предрассветным мраком, как-то грозно смотрела на меня. При виде этой спящей силы я вдруг необыкновенно ясно сознал, что я один посреди ее и что всего меня обняла она своими широкими объятиями...

Испуганный молчаливым величием ночи, я иду по сонной деревне. Утренний холод, так ощутительный в поле, сменился запахом жилья. Потемнело как будто, и, хотя на улице решительно не было ни одного живого существа, тем не менее в природе чувствовалась какая-то ободряющая полнота.

Ночной мрак уже не пугал воображения.

Но вот деревня пройдена. Чурюканье навозных тараканов уже не слышится; повеяло прежним холодом, – в путевой дали, изрытой глубокими оврагами, которые, как щетиной, поросли мелким кустарником, завиднелась грозная, тайная ночь, и снова воображение запугалось ее, и душа затосковала своим одиночеством.

Дорога, по которой я шел, венчала своей левою стороною, как карнизом, высокую каменную гору над Доном. Над редко расставленными дорожными вешками густо носились седые речные пары. Путешествуя по родной стороне и, следовательно, знакомый со всеми ее мифическими сказаниями, я живо вспомнил их, почти единственных воспитателей моего младенчества: перед изумленными глазами моими возник фантастический образ гиганта, приставленного по ночам сторожить старинный разбойничий клад. Выходя как будто из волн речных, он высоко стоял над семисаженною горой. Мне виделось даже, как в ночном тумане колебалась его белая мохнатая шапка. Шаги мои против воли сделались медленнее, по телу, как в старину бывало, пробежала холодная дрожь: в одно и то же время я и желал слышать и боялся услышать, как богатырь гаркнет на спящую степь:

А и мимо меня дикий зверь не прорыскивал²,

² «А и мимо меня дикий зверь не прорыскивал...» – строки из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник».

Ни один богатырь не проезживал,
Быстра птица не пролетывала...

И как в давние детские годы обманывался я в бабке, рассказчице дива, и переставал видеть в ней свою бабушку, потому что в этом месте рассказа она непременно меняла свой тихий старческий голос на возможно толстый бас и доброе лицо ее в эту минуту старалось изобразить необыкновенно грозный богатырский лик, – так и теперь мне нельзя было, хоть даже и бессознательно, не обмануться и не испугаться великана, который так гордо остановился на моей дороге.

Две широкие меловые линии, параллельно идущие от подошвы горы в самый верх ее, изображали собой длинные раздвинутые ноги великана. Высокая раскидистая вешка, росшая на самом обрыве горы, вся задымленная и колеблющимся мраком и речными парами, служила ему шапкой, плотно накрывавшей дремлющую голову. Я на секунду остановился на дороге и только того и ждал, что вот-вот из-под этой шапки раздастся громкий голос, от которого посыплотся листья с деревьев и проснутся испуганные птицы.

Но, как и все, что стояло около меня, было недвижно и молчаливо, так был недвижим и молчалив великан, напомнивший мне собой иные, счастливые времена. За минуту грозный и величавый, он, когда по груди моей пробежал сладкий трепет при воспоминании о бабке, рассказывавшей некогда про его непобедимую волшебную мощь, при воспо-

минании о моей собственной, некогда твердой вере в непременную действительность сказочного мира, вдруг как будто переменял свой пугающий образ. Я заметил в этом образе что-то невыразимо ласкающее: из дали, затемненной ночью, он смотрел на меня с такою любовью, что я уже не видел в нем прежней заколдованной силы волшебного стража; силу любви другой, не менее мощной, настроились видеть в нем глаза мои!

Это от тебя, бабка-рассказчица, перелетела мысль моя к матери, с которой вы длинными зимними вечерами занимали наши ребячьи досуги. Живо вспомнил я, добрые мои, все рассказы ваши о мире, в который вы сами так же твердо и простодушно веровали, как мы – дети.

И вот закипела пустыня тайными существами, знать и бояться которых вы научили меня. Не пуста теперь дорога моя! Бесчисленными роями кружатся и летают передо мной существа эти, игривые и грациозные, как детство, верящее в них. Каким-то странным, невиданным мною до сих пор светом прорезывают они мрак ночи и реют над высокой затуманенной вешкой, давшей голове моей любимую работу – думать о прошедших днях, об умерших людях...

Нет нигде жизни! Спит все живое тем последним предутренним сном, с которым так тяжело расставаться. Жаворонки не вставали еще, а перепела, почуя близость зари, тоже прервали на время свою почти неугомонную песню. Ничто не мешает свободно развиваться ленте моих воспоминаний.

Широкая и длинная, как эта дорога, она до такой степени занимает меня, что я забываю пространство и усталость и иду. А между тем давно умершие люди, давно забытые жизненные случаи так ясно проносятся в памяти, что я вспоминаю самые незначительные подробности, подмеченные мною в ранней юности на этой дороге. И при всем том, что всю ее ночь ревниво закрывала от глаз моих, я, так сказать, ошупывал эти подробности и указывал их себе.

Иду я и думаю, думаю и иду.

Мир вам! Мир вам, добрые, бедные люди, обставлявшие некогда мою бедную детскую жизнь! Мир тебе и покой, бедная родная сторона моя! Давно я покинул тебя, потому и не знаю, как живут теперь твои дети, но как они тогда при мне жили, я знаю, и опять говорю: мир вам, добрые, бедные люди! Мир тебе и покой, бедная родная сторона моя! Как люди, некогда жившие на тебе, знаю я, нуждались в покое, хоть бы даже в смертном, как они говорили, так и ты, помню я, нуждалась тогда в нем и, может быть, даже и теперь также ищешь его...

Сквозь рedeющий мрак, закрывавший от меня лицо матери-степи, я увидел наконец, что все та же она, какую я оставил ее много лет назад...

Длинный строй рогатых вешек-сирот выстроился по обеим сторонам степной проезжей дороги; сама дорога, малоезженная, но избитая кем-то до того, будто только сейчас прошла по ней миллионная армия, лепилась по придонским го-

рам, спускалась в глубокие овраги и, выгибая свою бесцельную дугу, пугливо пряталась от глаз, опечаленных унылым видом.

Все та же ты, степь! Вот довольно ясно показались мне долины и косогоры, испещренные хлебами, единственным богатством твоим; по сторонам дороги забелели церкви, замелькали кресты колоколен, а около них мрачно рисуются слитные, растрепанные массы крыш из почерневшей гнилой соломы, развалившиеся, закоптелые избы без окон, без труб, подпертые со всех сторон кольями и безобразно заваленные, с укрепляющею, надо полагать, целью, серым навозом.

Да, по-прежнему наводят на душу тоску самую гнетущую уродливые и как будто хворые норы степных обитателей. Таковыми же сирыми кажутся они и так же беспомощно выглядывают из-за навоза их маленькие слепые оконца, как вот эта ватага калек, слепых и хромых, которая сейчас встретилась со мной, усиливаясь холодком доползти и дохромать на сельскую ярмарку за куском насущного хлеба...

Вижу, вижу я теперь, что все та же ты, степь, что все так же ты нуждаешься в покое и мире, как и при мне ты нуждалась в них, потому что слышал я сейчас жалующуюся, скорбную песню твою. Не прибавилось, должно быть, радостей тяжелой доле степной, не прибавилось веселья и в песне.

Ой, вали валом! Ой, вали валом

Из-под камня вода³, –

тоскует, как горлица, эта песня – и по всей ширине степи разносила звонкая утренняя заря жалобный припев: «О-ой, из-под камня вода!»

По степным сказаньям, так, зачуяв несчастье дома, доможил, его заботник и покровитель, стонет и плачет в глухую, одинокую полночь...

Я остановился и слушал эти рыдания по степному, почти общему, горю. По всему полю тяжким стоном стояли они, и, слушая их, мне казалось, что им мало этого поля; я желал, чтобы слезы, вызвавшие их, рекой многоводной зашумели по всему лицу земному, потому что плакала ими неутешная мать. «Стоит мать, – говорит песня, – у подгорного придонского ключа и ведет с ним такую речь: каким бы шумным валом, ключ, ни валила вода твоя из-под камня, все ей не заглушить моего лютого горя. Моего вдовьего, последнего сына мир отдал в солдаты, а дочь, по барскому приказу, увезли в новые деревни, в Самару. Мне сказали: снаряди свою дочь в дорогу. Ее барин посылает в свои новые деревни, в Самару, а то там, говорят, невест нет, а я говорю и плачу об том, что ей там женихов нет. Давно уж я, вспоминая свой последний конец, просватала ее за милого жениха, чтобы навсегда быть ей в родимых местах. Знать, придется мне умереть оди-

³ «Ой, вали валом! Ой, вали валом, Из-под камня – вода» – русская народная песня.

нокой, без детушек, знать, некому будет сделать мне вдовый гроб. Обрушится после меня большая изба наша, дедом из толстого леса срубленная, крапивой зарастет огород, и на нашем родимом, насиженном месте ляжет унылая пустошь».

Много таких материнских жалоб и воплей отнесли подгорные придонские ключи к далекому морю Азовскому, к братьям-высельщикам степным.

Как и прежде, как и в старину при мне, степной день начинался жалобами и рыданиями, потому что чем реже становился мрак ночи, чем шумнее стук и скрип немазанных колес оживляли окрестность, тем чаще и повсеместнее слышались родные звуки родимых песен. Издали, с глухих заросших травую проселков, соединявшихся с проезжею дорогой, доносились они до меня, неумолчно звенели назад и вперед меня на самой дороге, и в голове безотвязно стояла одинокая мысль: о чем плачут и скорбят эти люди, проснувшись вместе с ранними птицами?

Все так же! Все по-прежнему! Птицы проснулись, проснулся и люд степной, и вот теперь до самых краев зачерпнулась им большая дорога. Отовсюду идет и едет он залить кормилицу землю п том своим трудовым.

Благослови вас бог, труженики, на силу и терпение в вашей работе-страде под томящим солнечным зноем, который запалит сейчас всю степь одним общим пожаром...

Много на час оживилась проезжая дорога, спавшая за минуту. Предалась она опять своему обычному, думающему

молчанью, потому что люди, разбудившие ее, все разбрелись по полям, и по всему пространству закипела неприметная глазу работа, которая дает пищу миллионам.

Очень хорошо зная, что здесь убирается хлеб, вы идете и никого не видите. Так это все нагнулось, уткнулось в высокую рожь, что, кроме пения да лета беззаботных птиц, ничего не видать по сторонам. Разве только где-нибудь близ самой дороги, на сжатой уже совсем полосе, стоит одинокая телега с вздернутыми кверху оглоблями, на которые в виде шатра накинута старый серый армяк. К телеге привязана лошадь; подле нее лежит огромная степная собака. Заслышав ваши шаги, лошадь громко окликает вас своим звонким ржаньем. Собака отзывается своему другу злостным лаем и неотразимо бросается к вам под ноги.

Только из одних собак наших и не успели еще покуда выбить их степную злость, всегда стойко и храбро отстаивающую хозяйское добро.

Наконец красным шаром выплыло солнце. Засвистели, зачирикали и залетали птицы, и как-то особенно медленно, совершенно не так, как в других местностях, потянулась однообразная жизнь проезжей степной дороги.

Стая богомолка торопливо бежит мне навстречу. Высокая, страшно загорелая старуха бодро идет впереди. Закутанная с ног до головы в грязные тряпки, она терпеливо и без видимой усталости тащит на спине огромный холщовый мешок, перетянутый веревкой надвое. Это, очевидно, вожа-

чиха, наторелая в религиозных путешествиях, сломавшая, вероятно, далекий поход к соловецким угодникам, а может быть, даже и в Старый Иерусалим. Я готов был биться об заклад, что в верхнем отделении ее мешка, говоря без преувеличения, полпуда черных сухарей, запасенных дома, а в нижнем – полпуда же песку из родной реки, взятого с богоугодною целью потрудиться и променять его на святой песок святой Почайны⁴ и синего Днепра.

За вожачихой чернеют набивные платки вольных сельских черничек. Слышатся неясный говор и как будто пение. Стая равняется со мной. Она состоит примерно из пятнадцати женщин. Лица их до такой степени изморились и обгорели, что решительно нельзя по виду определить их возрасты; но какие из них в первый раз совершали путешествие, это можно видеть с первого взгляда. Они едва передвигали ноги, и на молодых, искрасна-бронзовых лицах замечается постоянное желание присесть хоть на минуту на траву, отдохнуть хоть немного. Лицо старухи вожачихи необыкновенно сосредоточенно, даже мрачно. На нем не видно ни малейшего следа не только страдания, но и простой усталости. Совершенно свежий, хотя и старческий басок ее, как пчела, оглашал пустыню.

«Умереть бы желала я, – пела она, – мои милые братья, во Христе родные сестрицы, в своих родимых местах, чтобы

⁴ *Почайна*. – Почаевская лавра, православный мужской монастырь близ селения Новый Почаев на Волыни.

на мою смерть смотрели ясные глаза внучков и детушек, а встать хочу я в светлом граде Иерусалиме... Только, как я, грешница великая, Иерусалима божьего недостойна, навсегда молю господу, чтоб он сподобил меня встать хоть в святом Киеве...»

Молодые голоса ее спутниц выражали такое же желание.

– Спаси бог в дороге! – проговорила мне старуха с низким поклоном.

Таковыми же словами и такими же поклонами приветствовали меня ее усталые подруги.

– Далеко ли до села, родименький? – спросила необыкновенно исхудавшая богомолка. – Душенька истомилась: пить страсть хочется.

– Много ли потрудились-то? Пить-то есть ли за что? – сердито спрашивала вожачиха.

– Три версты, – шепнул я в утешение страдальце так, чтобы не слыхала старуха.

А до ближнего села оставалось им верст десять. Я знал по опыту, что такая ложь в дороге весьма благодетельна. И про жажду забудешь, как вопьешься глазами в даль и ждешь, когда покажутся деревенские крыши.

Иду и думаю: теперь скоро становой поедет по дороге, или его писарь, или волостной писарь, а там, когда ободняет побольше, молодая купчиха из ближнего города тронется к сельской колдунье лечиться от порчи или узнавать про мужа: изменщик он или нет. Потом проплетется какой-нибудь оди-

нокий старец, странствующий по монастырям лет двадцать кряду, весь обросший черною бородой, приученный в уединенной пустыне к почти постоянному молчанию, с худым, истомленным лицом, бледный как мертвец, с глазами, мечущими искры... Босой, длинный мужик в одной рубахе пронесется с работы верхом на кляче, повешенный сейчас из дома, что жена родила; два солдата, отводившие арестантов в город, нагонят меня с трубочками и штыками; барыня в поле проедет; неизвестный человек в истерзанном рубище быстро, как спуганная птица, выскочит изо ржи, пробежит поперек дороги и, пугливо озираясь во все стороны, мышью скроется в соседнем леску.

Иду и ожидаю, когда все это по очереди проделает мне степная дорога.

– Бог помощь! – раздается позади меня. – Не по дороге ли? Охотнее идти будет.

Меня догнал молодой человек, лет не более двадцати, в сером нанковом пальто и фуражке с кокардой. Я счел его за одного из тех выгнанных приказных, которые вечно шатаются по большим дорогам и пугают степных крестьян своими светлыми пуговицами. Я не любил встречаться с личностями подобного сорта, потому что, встречая их очень много, изучил их, как говорится, дотла. Всегдашняя, безутешная скорбь, постоянное влечение в кабак, притворное раскаяние в этом влечении, нахальное вламывание в деревенские избы и захват с собою съестного и даже одежды – вот отличитель-

ные качества сих скорбящих путников.

– Откуда бог несет? – спросил он меня необыкновенно мягким и симпатичным голосом.

– Из Москвы, – отвечал я лаконически, опасаясь поддаться первому хорошему впечатлению, произведенному на меня этим голосом.

– Ах, как это хорошо! Надеюсь, вы не откажетесь рассказать мне, как поживают в Москве; я сам туда же иду, и иду в первый раз.

– Это очень странно. Я покамест могу вам сказать, что вы идете совсем в противоположную сторону от Москвы.

– Извините. Я не так выразился. Видите ли, я не дальний и очень хорошо знаю, что мне нужно идти назад, но я делаю крюк, чтобы проститься с родными.

– В таком случае я очень рад рассказать вам про столицу, что сам про нее знаю. Верно, хотите служить там?

– Да. Хочу попробовать своего счастья.

– Дай бог успеха.

– Ну, не думаю, чтобы бог непременно исполнил ваше желание, хотя и благодарен вам за него.

– Отчего ж?

– Да так. Не ст ю, кажется; а буду ли стоять – не имею возможности утвердительно сказать.

Меня озадачил необыкновенно откровенный тон, с каким было высказано это сомнение. Это, должно быть, какой-нибудь юноша, принадлежащий к провинциальному молодому

поколению, думаю я себе, и не ошибся. Юноша повел со мной разговор весьма эксцентричного свойства.

– Меня зовут Теокритов, – начал он. – Мой пеший образ путешествия и моя фамилия, конечно, сказали вам все об моем звании и состоянии; поэтому можете себе представить, что я не буду расспрашивать вас о том, в какой московской гостинице мне всего удобнее остановиться или каким образом я могу быть принятым в великосветских салонах.

– В свою очередь и я никак не мог бы удовлетворить ваше любопытство в этом отношении.

– Я почему-то предполагал это, – отвечал Теокритов с улыбкой. – Скажите, пожалуйста, вы долго прожили в Москве? Извините за нескромный вопрос, но я, рекомендую вам, такой уж человек. Если сойду с кем, не могу не позволить себе полной откровенности: расспрашиваю про все, рассказываю обо всем.

– Сделайте одолжение, не стесняйтесь. Я сам совершенно такой же. В Москве я прожил более двух лет.

– Довольно. Чем вы там занимались? Я никак не могу ни по лицу вашему, ни по костюму отгадать ваших занятий.

– Право, я сам не знаю, чем я занимался в эти почти три года. Впрочем, вы мне сказали одну очень хорошую вещь. Я так же, как и вы, в одно утро шел по этой дороге в Москву с целью попробовать своего счастья – и пробовал... Это было мое главное занятие.

– И что ж, хорошо там? – спросил с необыкновенною по-

спешностью молодой человек.

– Да вот, как видите, – отвечал я, показывая ему на свой маленький дорожный чемодан. – *Omnia mea mecum porto* ⁵.

– Дда-а! – протянул Теокритов. – А сколько вам лет? – почему-то полюбопытствовал он, пристально всматриваясь в меня.

– А как вы думаете?

– Лет тридцать с небольшим, – польстил он мне.

– Двадцать четвертый пойдет с августа, – огорошил я его.

Теокритов сделал нервическое движение и замолчал. Минут десять прошли мы молча.

– Но вы, надеюсь, не откажетесь мне сообщить некоторые подробности насчет того, собственно, как простая проба, хоть бы даже и счастья, могла состарить вас так неестественно?

– Очень просто. Я пошел в Москву, может быть так же, как и вы, с самыми жалкими, но и с самыми нелепыми надеждами. Мне было девятнадцать лет. Я только что спорхнул со школьной скамейки и воображал, что все науки известны мне как мои пять пальцев. В этом уверял меня и аттестат с широкою печатью и с размашистыми росчерками разных инспекторов, профессоров и так далее. Сообразительности, впрочем, и тогда уже было у меня достаточно для того, чтобы задать себе такого рода вопрос: а чем будет питаться тело мое, которое, как известно вам, для разницы с бод-

⁵ Все мое ношу с собой (лат.).

рым духом называется бранным и немощным? «Бренное тело-то? – отвечал мой мальчишеский, следовательно добрый, дух. – Во-первых, об нем и говорить-то много не стоит, потому что пряников писанных оно у тебя не потребует – не привыкло, а ежели и потребует, так тоже заботиться не о чем. Науки тебе известны: уроки давай. Не найдешь уроков ежели, то есть в случае, ежели заколодит, почерк имеешь хороший: бумаги пока переписывай. Делать-то нечего. Счастье ведь пробовать собираешься!..» Как сами вы видите, резонно до этого места рассуждал и ободрял слабую плоть добрый дух, но потом и сглупил. «А стихи-то? – шепнул он мне в довершение эффекта. – Разве не знаешь: Кольцов, Никитин⁶, земляки ведь твои, славу себе приобрели». А на великую мою беду, я тогда стихами, как и всякий грешный мальчуган, с большим чувством занимался, и образованное начальство пометило у меня в аттестате: «В сложении и скандовании пиитических сочинений весьма быстр и способен». Не спорю, такая отметка даже до изрядности чепушиста, и верить ей я бы не должен, но что же прикажете делать с тою горячею верою, с которою золотая юность верит во всякую чушь? Вот я и поверил всему этому – и пошел. Приду, думаю, настрочу нечто, и Москва заслушается моего козлоглагования. Вы понимаете, что я хочу сказать этим? Я хочу сказать, что, несмотря на мой аттестат с широкою печатью, я

⁶ Поэты *Кольцов А. В.* (1809—1842) и *Никитин И. С.* (1824—1861) – уроженцы Воронежа.

был тогда необыкновенно туп, не сам по себе, но потому, что не научили меня понять ту простую вещь, что кто намерен сунуться в воду, должен прежде поискать броду. Бросая аллегорию, я разъясняю это правило таким образом: зная крайнюю несостоятельность моих средств и благословляя меня на дальнейшее развитие моей головы, начальство благословляло как будто тем самым мои, хотя и косвенные, надежды на общественный карман. А другой надежды избежать голодной смерти у меня и быть не могло. Я очень хорошо помню, как пред моим походом в Москву в угорелой головенке моей роились разные казенные вакансии, стипендии, субсидии и тому подобное. Тогда как самый необходимый вопрос: откуда и за что мне все сие – никак не мог влететь в эту головенку. Следовательно, я как будто рассчитывал, что Москва просто-напросто для того, чтобы поощрить мои разнообразные таланты и благородные стремления, должна содержать меня на общественный счет. Претензия эта, признаюсь вам, мне тогда казалась безупречно законной. Талантливый сын отечества, сознавая в себе многообразные способности, говорит ему: «Поощри меня. Я, как даровитый человек, впоследствии принесу тебе сторицею. Без твоей же помощи я пропаду». Но не виновнее будет и отечество, когда спросит у даровитого человека: «Докажи-ка ты мне свою даровитость! Покажи, скажет, изобретательность твоего ума и силу твоей воли, хоть, например, в том разе, чтобы обойтись тебе своими средствами, не пропасть без моей помощи». Такого рода

испытанию и подвергла меня Москва, и, конечно, пожив теперь в обеих столицах, я имел случай видеть, как один сын отечества, по общему мнению далеко не даровитый, и без этого испытания был поощрен даже не по заслугам; но ведь это доказывает только, что мне, например, мать купила го-стинец, а вам вихры надрала, и что, ежели вы неудовольствие какое по этому поводу выразите, она вам их еще более может надрать. Отдавая таким образом Москве должную благодарность, что она не допустила мою гениальность разжиреть на ее счет, я желаю выразить тем, что если она и на грядущее время будет так же исправно выдирать хохлы некоторым ребятам с глупым и бесправным риском, отовсюду налетающим на нее, как она мне их надрала, из этого выйдет одна очень хорошая вещь. Некоторый класс людей, славящийся у нас прирожденною способностью жить на чужой счет, все больше и больше извещаясь об этих, как говорится, всключках и вздрючках, со временем окончательно утратит эту способность, и будет от этого великое благо как самому сословию, так и всей Руси.

Против воли, я готов был в это время говорить хоть целую неделю, потому что припомнилось мне тогда очень много тех печальных вещей, которыми обыкновенно встречает столица молодых плебеев, таскающихся туда пробовать счастье. Разливаясь в этих фразах, я почти и забыл про Теокрытова и отвечал только одним своим воспоминаниям и впечатлениям.

– Вы, кажется, имеете в виду именно тот класс, к которому я принадлежу? – как-то робко спросил мой спутник.

Я вдруг опомнился. Мне было очень жаль моих слов.

– Я разумею мой собственный класс, – отвечал я ему, – и, может быть, он будет наш общий с вами. Вы, пожалуйста, извините меня, что я говорил с вами несколько откровенно. Я потому позволил себе это, что, по вашим словам, вы сами откровенный человек. Хоть я и показался стариком на первый взгляд ваш, тем не менее я не выучился вести другой разговор, да едва ли когда и выучусь.

– Я очень признателен вашему неумению, – отвечал Тео- критов. – Благодаря ему я начинаю яснее смотреть на ту до- рогу, по которой мне придется идти. Сознаюсь вам, меня, как и вас когда-то, обуревают теперь мечты об уроках, сти- пендиях, переписке бумаг в крайнем случае и тому подоб- ном. В отношении меня мечты эти тем нелепее, что на уро- ки, например, я уж окончательно не имею права рассчиты- вать, потому что в недавнее время я узнал, что и мой атте- стат, как и ваш, есть один только самый сущий вздор. И хоть мне по окончании курса в семинарии очень хотелось посту- пить в университет, но скажите же вы мне, что я там буду делать? Как я выдержу экзамен и как наконец, ежели даже и выдержу его, буду слушать университетские лекции, когда сам я чувствую потребность поучиться просто-напросто гра- моте? Следовательно, я должен буду служить в Москве. Пе- реписывая бумаги в каком-нибудь присутственном месте, я,

кажется, очень мало погрешу против моей совести.

– Значит, вы идете в Москву, чтобы переписывать бумаги? Но таким образом пробовать счастье вы могли бы и в родном городе, не ломая дальнего похода и не рискуя умереть с голода.

Теокритов забежал вперед и остановился против меня.

– Видите, – заговорил он с одушевлением, – как хорошо теперь на белом свете?

Я осмотрелся: утро было действительно прекрасное.

– Вижу, – отвечал я. – Но каким же образом ваш вопрос продолжает начатый нами разговор?

– А вот я вам сейчас объясню, – отвечал он с большим азартом. – Как ни за что не могу я не чувствовать всю прелесть того, что окружает нас в настоящую минуту, не могу я сделать, чтобы сердце мое было равнодушно к этой огромной картине, хотя я почти каждый день смотрю на нее уже двадцать лет; точно так же не могу я жить, как вы мне советуете, в родном городе. Я должен всем рисковать, чтобы уйти отсюда, потому что, ежели буду жить здесь дольше, я чувствую, что непременно скоро умру. Временами бывает так, что мне кажется, будто для моего дыхания даже нет места в этом воздухе. Вам это, пожалуй, может показаться смешно, а мне, если б только вы знали, как иногда бывает невыразимо тяжело сдерживать в груди это дыхание. Вы, может быть, даже и не поверите в возможность такого случая? Клянусь вам, это правда, и ради одного этого обстоятельства я должен уже

утекать отсюда; в противном случае я непременно лопну...

Говоря это, молодой человек был необыкновенно взволнован. Щеки его ярко горели, а на лице ясно рисовалась какая-то как будто с цепи сорвавшаяся злость, готовая истерзать первого встречного. Я видел, что он до бешенства вооружен против своей жизненной обстановки, – и на этом основании простая фраза моя, что бумаги можно переписывать и не выходя из родного города, была принята им за положительное, как будто даже начальническое приказание ему не оставлять ни под каким видом родины. Ускоряя шаги свои, так что я едва успевал за ним, он с каждой минутой раздражался моей фразой больше и больше и старался уязвить меня разными колкостями, в том ожидании, должно быть, чтобы дать мне хоть слабое понятие о той, по всей вероятности, мучительной боли, которая терзала его самого.

– Вы прекрасно посоветовали мне остаться в родном городе, – горячился он. – Очень вам благодарен за совет. Но одно из двух: подавая мне его, вы, извините за бесцеремонность, или соврали (бог уж вас знает для чего), что вы в одном со мною положении, или ваша московская жизнь так передернула вас, что вы забыли всю пахучесть той среды, которую иногда занимает наш класс. Но я не знаю, как можно забыть эту постепенно одуряющую жизненную обстановку людей нашего болота, о которой когда начнешь рассказывать свежему, незнакомому с ней человеку, так он, слушая, непременно думает, что вы сошли с ума и врете ему

невозможную, никогда и нигде не бывалую дичь. Тысячу, сто тысяч лет нужно прожить мне, например, чтобы забыть какое-то, так сказать, нравственное зловоние, которое окружает меня с самого детства и которое, наконец, выкурило-таки меня из прекрасных здешних мест. Да нет! И через сто тысяч лет я не забуду это зловоние... Понимаете ли, что это решительно невозможно, как невозможно не умереть человеку, – щегольнул он сравнением, задыхаясь от волнения и как-то особенно, точно в истерике, всхлипывая. – С другой стороны, я тоже решительно не понимаю, что вас заставило соврать мне, – спрашивал он самого себя, нисколько, по-видимому, не сомневаясь, что я действительно соврал ему. – Встретиться с человеком на дороге и соврать ему без всякой нужды – это черт знает что такое! Я никак не могу понять, – с азартом размышлял про меня мой спутник, соболезуя как будто, что порочная склонность моя врать первому встречному всякую чепуху не подлежит ни малейшему сомнению.

Я молчал, предоставив ему и время и возможность прошуметься и освежиться утренним воздухом. И действительно, он скоро прошумелся. Голос его, постепенно понижаясь, перешел наконец в тот немного взволнованный тон, которым подобные горячки сыплют на вас свои извинения и раскаяния в невольных обидах.

– Простите меня, – заговорил Теокритов прежним кротким голосом. – Я вот всегда так. Чуть только вспомню и заговорю о своем житье-бытье, сейчас и начну ругаться на ко-

го ни попало. Кажется мне в это время, что все люди виноваты против меня, потому что суждено им, счастливым, не знать ту жизненную сладость, которую мое происхождение присудило меня изведать.

– Я вовсе не такой счастливчик, и сердиться на меня вам совсем не за что: я нисколько не соврал вам, как вы обо мне подумали, и пахучести своей прошлой жизни далеко еще забыть не успел.

Юноша заметно стыдился своей вспышки и рассыпался в извинениях. Я уверял его, что в дороге тяжело и без них.

– Да нет! Как же это? – недоумевал он. – Вдруг встретиться на дороге с человеком, навязаться к нему в товарищи и потом обругать его.

– Вы меня не обругали. Вам показалось, что я наврал вам, – и вы, как откровенный человек, сказали прямо, что обо мне думаете. Я решительно не вижу, что вас беспокоит. Не будем больше говорить об этом.

– Но все-таки... – протянул Теокритов, стараясь не смотреть на меня и шибче прежнего шагая по дорожной насыпи.

Я заметил в нем сильное желание как-нибудь оправдать в моих глазах свою горячность.

– Я вам не надоем ли, – заговорил он после некоторого молчания, – если расскажу кое-что. Мне хочется по возможности доказать вам, что мне почти нельзя не быть таким зверем, каким я вам показался сейчас. Право, мне кажется, вы перестанете сердиться на меня, если выслушаете, что я наме-

рен сказать вам.

– Я на вас и без того не сержусь, – старался я успокоить его. – Сделайте одолжение – говорите. Я буду очень рад.

– Хорошо же, – с живостью подхватил он, – я буду говорить. Вот вы сказали сейчас: «Сделайте одолжение – говорите. Я буду очень рад». Вещь на всякий взгляд обыкновенная, и каждый несколько раз в день скажет такую фразу, несколько не задумываясь над нею, как не задумывается над нею и тот, кому ее скажут. Но посмотрите теперь на меня, и вы увидите, какой я несчастный, самому себе противный урод. Сам по себе, по натуре, как говорят, я от души расположен верить всему, что мне ни говорят, от души готов исполнить для всякого все, что могу исполнить. А в настоящем случае, то есть вам, я совершенно верю, что вы не сердитесь на мою вспышку, что вы в самом деле будете рады развлечься в дороге моим рассказом; но в то же время те условия, при которых я жил до сих пор, посадили в мою голову какого-то беса, выгоняющего из меня, против моей воли, всякую веру даже в самых близких людей. Поверите ли, вот теперь этот бес повсеместно, так сказать, засел во всем моем теле и старается вытеснить из меня симпатию, которую я почувствовал к вам еще в то время, как только вас завидел. В моей жизни, хоть она и не успела, как видите, посыпать голову мою снегом, не было еще ни одного человека, которого бы я не полюбил при встрече и с которым бы не разошелся единственно по внушению беса, засевшего во мне. Откуда он пришел ко мне?

Если бы я, как справедливо кажется мне, не родился в той сфере, в которой родился, его бы во мне не было. Опять повторяю, что привычки людей, которые родили меня, воспитали, их особенное образование, перенесенное от них и на меня, их убеждения, если только можно назвать убеждениями дикую толпу диких предрассудков, выработанных стариной и сохранных нашим временем как лучшее доказательство той истины, что хорошее старинное может напугать времена позднейшие своим чудовищным варварством, – все это одно только, положительно уверяю вас, посадило в меня моего беса. Ну, вот он со мной и расправляется за грехи отцов. Я вам скажу пример, как именно он со мной расправляется. По выходе из семинарии я служил без малого два года. Чин мне, как студенту, дали; столоначальником к концу года посадили. Вы служили где-нибудь?

– Нет, – отвечал я.

– Следовательно, вы не знаете, что в руках столоначальника сосредоточивается нечто такое, что может выжать слезу из глаз просителя-мужика и отереть ее. Вот, каждый почти день это бывало, сидишь ранним утром в квартире, а мужики уж и лезут с своими нуждами, оборванные, истерзанные, грязные, с лицами озабоченными и изнеможенными до такой степени, что все сердце, бывало, перевернется, глядя на какого-нибудь горюна. «Батюшка! – начинают вопить. – К милости вашей пришли. Так и так...» – и в ноги. Слушайте же: «Десять рублей, – говоришь ему, – стоит это дело, ста-

рик», потому что такса уж известна; зная эту таксу, рассчитал кому сколько следует, чтобы без всяких задержек поскорее отпустить старика, и объявляешь ему. Не дай вам бог видеть, что начинает делаться после этого объявления: стоны, слезы, коленопреклоненья, целованья ног. «Кормилец! Лошадь, говорит, другой день без корму стоит; хлебушко, кой с собою из деревни привез, вчера утром покончил, а теперь ничем-ничего нет»... Вот тут-то и начиналась обыкновенно расправа, какую учинял со мной бес, посаженный в меня, как я сказал вам, за грехи отцов. Я вижу, что десяти рублей старику взять неоткуда и что ежели сделать ему дело без них и кроме того дать еще полтинник на обратный проезд, так из этого выйдут два обстоятельства. С одной стороны, старик, осчастливленный нежданной благодатью, действительно на всю жизнь будет поминать меня в своих молитвах, как обещает; с другой, мой стол, а главное – мое начальство подумают, что я хапаю один, и на этом основании рано или поздно съедят меня. А может быть, как-нибудь уцелею, думаю я про себя, и решаюсь отпустить старика. Поймите: я хочу это сделать искренне, не стесняясь толками товарищей, притеснением начальства; рискую быть выгнан из службы, следовательно потерять единственную возможность жить. Вдруг ни с того ни с сего в мою голову прокрадывается мысль, незваная, непрощеная. Причин, могущих ее вызвать, кроме беса, я ни одной не знаю. Мне почему-то начинает казаться, что старичишка-то врет, что у него за голенищем мошонка с сот-

ней рублей, которые он привез с тою целью, чтобы обхлопотать свое дело. Я пристально всматриваюсь в него и начинаю видеть в нем так известный мне тип деревенского богача скряги, у которого в пеленах под сараем деньги, в горшках под печью деньги, в холстах у жены деньги. В это время с какою-то особенною ясностью припоминаются мне все деревенские истории, которых, к несчастью моему, я был столько раз свидетелем. В селе сходка, обсуживающая какое-нибудь мирское дело. На этой сходке положили избрать хлопотуном дядю Федоса, присудили дать ему на хлопоты по рублю с души и отправили на мирской подводе в город. Приезжает из города дядя Федос – и опять сходка. «Ну что, спрашивают, схлопотал?» – «Эвось!» – отвечает с приличною важностью хлопотун. «Как же ты обделал, братец ты мой? – удивляются мужики. – Деньгов-то у тебя было не бог знает сколько?» – «Вон она! – еще больше важничает дядя Федос. – Мы, малай, и без денег бы всякое дело уделали. Нас господа-то, поди-кась, как привечают, потому видят господа: ума-то у меня коровы покедова не сжевали. Свитенку-то я нарошно старую да изодранную с собой захватил, и лаптишки-то избитые, и шапчонку такую же. Пришел к начальству в таком-то наряде – самого себя не узнал: как есть блаженный какой. Боялся все, как бы мне в горнице-то судьи не загрохотать вслух, одначе ж скрепился, и взялся я, братцы мои, у этого самого судьи (молодой такой судья, новый еще!) так-то орать, так-то скорбеть тоскливо я у него принялся, что слезы у него из глаз

потекли. Увидал я слезы-то у него – в ноги сейчас к нему, целую ему сапожки-то, светлые такие сапожки; он мне все дело-то и уделал, у всех самых набольших за меня просил. Только и потратился я на харчи лошади, да себе, да солдатов судейских обделил по семитке. Во как!» Сходка слушает дядю Федоса и хохочет в поощрение его адвокатских способностей, а дядя Федос, раскуражившись, поучает мир такого рода справедливым изречением: «Тоже, малай, много дураков-то и в городе есть! На наш век хватит их, городских-то!» И вот, говорю вам, при этом воспоминании я начинаю на лице стоящего передо мной просителя примечать улыбку дяди Федоса и думаю: «Что, ежели и этот старик есть не кто другой, как дядя Федос? За что тогда вытурят меня из службы?» Но даю вам честное слово, что я не очень скоро поддавался бесу-внушителю. Я усиленно боролся с ним, и всегда эта борьба оканчивалась таким образом: «Не поддамся же я тебе, бес, – говорил я про себя, – ничего не возьму с мужика». – «Не бери, тебя никто и не принуждает, – раздавалось в ушах моих. – Тебе же хуже. Ты вспомни только, кто для тебя сделал что-нибудь даром?.. Вспомни, что сделали тебе твои самые родные?» Я вспоминал тогда, кто бы сделал для меня что-нибудь даром, вспоминал, что сделали мне самые близкие, – и озлоблялся на мужика. Я радовался, что у меня есть возможность пожать человека в своих лапах, как меня жали и жмут. Такие случаи доставляли мне какое-то одуряющее до сумасшествия наслаждение. Я нарочно как можно

дольше задерживал мужика и по целым часам выторговывал у него копейку за копейкой, чтобы посмотреть, как он будет плакать и валяться в ногах; но и в этот момент у меня все-таки оставалось сознание, что так, как я, поступают только одни подлецы, хотя сознание это было до такой степени слабо и неуловимо, что я едва-едва чувствовал, как оно скользит по моему мозгу. Поэтому, я думаю, оно посылалось мне тем же бесом отрицания единственно для того только, чтобы отравить мое наслаждение даже и слезами ближнего... Это, мне кажется, бес делал с тою целью, чтобы служить-то я служил ему, делая такие подлости, и в то же время за эти подлости не получал бы ни одного вознаграждения, какие обыкновенно так щедро рассыпает своим слугам искуситель...

Меня, наконец, очень озадачила последняя сентенция моего спутника и печальный тон, которым она была сказана. Я взглянул на него. Теокритов был необыкновенно бледен, его глаза сделались мутны и совсем потеряли умное и ласковое выражение, которое я заметил в них сначала. Как-то бесцельно выпучил он эти бессмысленные, как у сумасшедшего, глаза, сгорбился по-старчески, сжался, угловато расставив руки и упрямо всматриваясь в дорожную даль.

– А вот Москва вылечит вас от этого беса, – сказал я, стараясь говорить как можно ласковее.

– Как вылечит? – спросил он. – Вы, может, по опыту знаете, что она способна прогонять бесов?

– Знаю по опыту. Там вы очень скоро навикнете или сле-

довать одним вашим собственным внушениям, или внушениям беса, судя по тому, с какими людьми сойдетесь.

– Давай бог! – пожелал Теокритов, оживившись. – Не устали ль вы? Сядем и будем курить.

Мы сели на траву, еще не обсушенную недавно взошедшим солнцем.

– Сказать вам по правде, я и сам полагаю на Москву большие надежды, особенно если как-нибудь попаду в университет. Я почему-то, хоть и весьма смутно, сознаю, что там перестроюсь решительно на другой лад. Каким путем произойдет преобразование, я еще не знаю, но верю, что преобразование будет. Это я имел случай видеть на моих товарищах, поступивших в университет. Знаю, что моя собственная перестройка, как и всякая другая, доставит мне много хлопот, а может, и страданий; но я ничего не боюсь, потому что теперешнего своего положения я окончательно не могу выносить. Его с ума сводящее, всегда безотрадное однообразие, которому я не вижу конца, – да конца и быть не может, – вынуждает меня к самым отчаянным мерам, чтобы добиться хоть какой-нибудь жизненной перемены... Верите ли, самая природа моей родины, по общему и, вероятно, по вашему также мнению такая цветущая, я не скажу, чтоб опротивела мне, но пригляделась как-то до такой степени, что я уже не нахожу в ней ничего, как прежде, когда, бывало, ребенком, наделенный потасовками и щелчками от всякого, кому только попадался под праздную руку, я уходил на целые

дни плакать об чем-то, жаловаться на что-то или в лес, или в дальнее поле... Итак, решено и подписано: иду в Москву и во что бы то ни стало буду добиваться университета. Если временами у меня и поднимаются дыбом волосы, когда я подумаю о моем беспомощном положении, которое так осязательно представляет мне полную возможность умереть там без хлеба и без приюта, тем не менее меня ужасает и та нравственная гнилость, которая теперь уже в какие-нибудь двадцать лет успела съесть почти всего меня. И то скажу вам еще: страх физических лишений, даже самых крайних, уж потому не может изменить мое решение, что я не знаю этого страха. Ежели бы мог я в четверть суток заработать только два фунта черного хлеба, так, чтобы остальные три четверти мне нужно было употребить на свои собственные дела, я был бы доволен, потому что в тятенькиных теремах разносолов особых не наживалось. Теперь предлагаю вам на вопрос: идти мне или не идти, – посмотреть вот с какой точки. Рассказывая вам про беса, вынуждавшего у меня злую радость при виде горя дяди Федоса, наперекор моему душевному желанию помочь этому горю, я показал вам весьма слабый, весьма неудовлетворительный образчик того, как лично со мной расправляется этот бес. Вы можете себе представить, что дума об университете, трудовой, полезной жизни – и, признаюсь вам, какая-то хоть и бесправная, но твердая надежда на громкую и добрую славу, сопряженную с такою жизнью, всегда была моей заветной, самой лучшей думой. Если у меня

были когда-нибудь минуты, свободные от моих сомнений, в которые я мирился со всем меня окружающим и не возмущался им, так только тогда, когда я в глубине души ласкал эту думу. Но посмотрите же, пожалуйста, на меня, видали ль вы когда-нибудь таких чудовищных уродов, как я? Вот теперь я решился идти, бросил службу, родину – и иду. Единственная и лучшая мечта моя начинает сбываться. Чего бы еще? Но я не могу поручиться, что, например, завтрашний день, отошедши от этого места пятьдесят верст, я не ворочусь назад, потом, может быть, я переменю свой план и пойду вперед, и, наконец, – кто знает? – может быть, до самого гроба я прохожу по этой дороге, меняя каждый день желание идти в Москву на желание воротиться домой... Делаю я это предположение вот на каком основании. Иду я, хоть бы вот теперь, даже по этой самой дороге, и думаю, что я уж окончил университетский курс, узнал жизнь и людей, насколько это возможно, из книг и из жизни, имею большие средства, которые дают мне полную возможность заниматься чем хочется и сколько хочется; общественное положение мое полезно для меня и для других, честно и прочно; думаю я обо всем этом и изо всех сил шагаю в Москву. Но может же при этом случиться и то, что бес, который теперь сидит во мне, не выйдет из меня и тогда. Следовательно, то зло, которое он заставит меня сделать в будущем, будет уже крупнее того зла, которое теперь я делаю. Эта мысль, конечно, наводит меня на другую мысль, о том, что не лучше ли мне дома

остаться навсегда, что, разумеется, ослабит средства мои делать зло другим. И вот поэтому я должен воротиться к только что оставленным пенатам затем, чтобы сколько возможно мирнее умереть у их мирного подножия...

– Такая мысль, – сказал я, – не может переменить вашу дорогу, потому что свет науки, за которым вы идете, неминуемо прогонит от вас вашего беса. Им не усидеть вместе, и я не могу себе объяснить, как вы не знаете ту всякому известную истину, что ученье – свет, а неученье – тьма.

– Ученье! – отчаянно воскликнул Теокритов. – Я не беру это слово в том смысле, который палками и кулаками навязывали мне понимать в нем. Если бы даже вы сказали мне, что науки свет, – и тогда бы ответил вам за меня мой бес. «Наука – это меч обоюдоострый, – шепчет мне в настоящую минуту мой непрощенный учитель. – Этим мечом в равной степени, – говорит он, – можно и защитить и убить».

– Пора бы вам отличать бесовские фразы от действительной истины, – возразил я.

– Но что вы посоветуете мне делать, когда я ни от кого, кроме этих фраз, не слыхал ничего?

– Идти поискать человека, который бы сказал вам что-нибудь другое, что, впрочем, и без моего совета вы уж начали делать.

– Помилуйте! – нетерпеливо отозвался Теокритов. – Да я так только и делал во все двадцать лет, что искал того человека...

– Это ничего не доказывает. На двадцать первом найдете. В столицах такие люди чаще попадаются, нежели в губернии.

– Посмотрим! – с грустной улыбкой сказал молодой человек. – Только на многих людей, должно быть, успею я посмотретья до тех пор, пока ваши слова сбудутся.

Я заметил, что Теокритов, при всей своей молодости, не для фразы только толковал об отсутствии в себе веры в возможность хороших случайностей, и глубоко задумался над безграничным количеством тех нравственных и физических потасовок, которые, выколотив из него эту веру, поставили его с завязанными как будто глазами на далекую, неизвестную дорогу с неминуемыми лишениями, страданиями и с такой тяжелой мучительной борьбой, которую могут вынести редкие силы... Я шел подле него и мысленно скорбел, представляя себе тот печальный период, почти неизбежно предстоящий всякому Теокритову, когда молодая душа, вместо желаемой любви и участия встречая на каждом шагу одни только оскорбления, должна будет, наконец, сосредоточиться в самой себе и пугливо притаиться, как таится измученная баловниками-мальчишками птица...

Гибельная тема о том, как должны быть демонски крепки и ум и тело плебея, рвущегося из своей среды, развивалась в моей голове с необыкновенною полнотою и ясностью. Весь этот тернистый, до кровавого пота трудный путь, по которому такие люди идут за своими прекрасными целями, – узкий и длинный путь живо представился мне! Как заколдованная

дорога наших сказок, растянулся он перед моими глазами, мелькая мне издалека белою надписью на длинном столбе. Пугалом стоит столб этот в одинокой пустыне. Так и хлещет в глаза прохожему его грозная надпись, ярко освещенная палящими полдневными лучами.

«Куда ты теперь пойдешь, странничек божий? – насмехается над усталым странником столб. – Две дороги за мной. Видишь, в надписи у меня значится: Направо пойдешь – конь пропадет, налево пойдешь – сам пропадешь...»

Задал он страннику такой вопрос и стоит перед ним, безучастный, бездушный, и как будто смеется над долгой и глубокой думой, которую путник силится разрешить себе заданный им вопрос.

Я знал по опыту, как тяжело это время раздумья для всех Теокритовых. Ошеломленные крайним равнодушием людей к их юной вере во всеобщую любовь, обезумленные несчастными столкновениями, которые показали им жизнь во всей ее неприкрытой наготе, прячутся они тогда в какой-нибудь темный угол и оттуда молчаливо смотрят на жизненную драму, проклиная дурных и хороших актеров: дурных за то, что они дурно играют, хороших за то, что самим им не посчастливилось так же хорошо сыграть свои роли.

И виделось мне, как повисло это грозное, сокрушающее время над умною головой моего спутника и сокрушило ее... Целый рой знакомых образов встал в моей памяти, тоскливо и громко жалуясь мне, что и их стремления вместе с ними

стерты с лица земли этим раздумьем.

Никто в степной тишине не мешал мне слушать стоны погибших братьев моих, потому единственно погибших, что во чреве матери они уже были осуждены на гибель, ибо, говоря славянскую речь, слишком твердо заучило наше общество, что «не надейтесь на князи и на сыны человеческие».

Много прошло таких странников по этой дороге, много всяких дум их развеялось по ней; но когда думали они, как им тяжело будет разбивать толстые стены, за которыми прятались жизненные цели их, они не думали о том, кто поможет им разбить эти стены. Они только о том думали, что стена должна быть разбита, потому что за нею свет, без которого они жить не могли, и некоторые из них действительно разбивали ее, а другие, несчастные, разбивали об ее холодные камни свои благородные, думающие головы – и умирали...

И из этих несчастных были такие, которые в предсмертных муках тащились по этой дороге на родную сторону, чтоб умереть там на отцовском погосте. На моей стороне я знаю много могил, приютивших у себя таких мучеников с их кровавыми ранами. Об их жертвенной крови неустанно шепчут и плачут листья развесистых кленов и белых берез, в наших сторонах растущих над могилами, и ежели иногда случается так, что гром разбивает дерево, печалющееся о человеческом горе, и плач прекращается, то не надолго, потому что на нашей тучной, степной почве очень скоро вырастают другие деревья. Их молодой шепот не так резко нарушает суро-

вую тишину наших кладбищ и еще нежнее лелеет уснувшее горе...

...Чувствую я, что голову мою начинает жечь палящий жар степной. Удрученная своей скорбною думой, с каждым шагом развивающеюся все печальнее и печальнее, она невыразимо страдала: какие-то проклятья слагались в ней, какая-то мука тяготела над ней и не давала ей возможности сообразить, луч ли солнечный бил в нее этою мукой, или какое-то смертное томление, обыкновенно примечаемое в пустыне, когда солнце зальет ее потоками своего палящего света, заставляет ее страдать?

И действительно, самое равнодушное сердце не могло не биться усиленно при виде этой картины одного общего, всецелого, так сказать, страдания. И, казалось вам, тем тяжелее страдала природа, что не было слышно ни одного звука, обыкновенного в этих случаях; только одни глаза видели во всем какую-то удушающую, гнетущую полноту...

Придорожные вешки, как человек в неожиданном несчастье, распустили свои запыленные ветви и молчаливо стояли, будто окаменелые. Десятки птиц унизали их кривые сучья. Идете вы и видите, как какой-нибудь ворон, в другое время чуткий и пугливый, теперь и не думает примечать вас. Вцепился он острыми когтями в древесную кору, раздвинул серые крылья и озадаченно смотрит на вас, удивляясь, по видимому, вашей охоте шататься в такую мучительную пору. Навстречу вам время от времени пробежит тощая, искале-

ченая, с перебитою ногой, собака, с хвостом, волочащимся по земле. И в глазах животного видна та же мука. Так жалобно посмотрела на вас собака, так выразительно замахала хвостом, что будто просила вас помочь как-нибудь ее перебитой ногой.

А по обеим сторонам степной дороги из золотых волн ржи мелькают белые рубахи на трудящихся спинах людей. Вам не видно красных, изможденных лиц этих людей, покрытых кровавым потом, – и лучше!..

И все это как-то неприязненно молчит молчанием мертвеца, словно по чьему-нибудь строгому запрещению...

Но прихотливы бывают дорожные думы... Идете вы и думаете: что было бы, ежели бы все это, не вынеся своей тяжелой боли, вскрикнуло вдруг?

Я не успел ответить себе на этот вопрос. Теокритов прервал мои думы.

– Если вы не хотите идти в такую жаркую пору, – сказал он, – я приглашаю вас зайти к моему деду. Скоро будет небольшой выселок на дороге: у него тут бахчи и постоянный двор.

– Я не прочь отдохнуть, – согласился я.

Очень скоро завиднелись с горы крыши выселка. За полверсты по обеим сторонам дороги потянулись бахчи, обрытые глубокой канавою. Кроме сплошной зелени свеклы, арбузов и дынь, покрывавшей бахчи, на них возвышался высокий лес ярко-желтых подсолнечников. Стая бахчевых собак

встретила нас громким лаем. Седой сторбленный старик то-ропливо выбежал из соломенного куреня умирять их.

– Арбузиков, што ль, вам? – спрашивал он. – Не поспели еще.

– А ты нам, дедушка, спеленьких откопай, – заговорил Теокритов.

– Родимый ты мой! Как это ты попал сюда? – пытал дед, признав наконец внука.

– Проститься пришел, дедушка. В Москву иду.

– Зачем?

– Счастья искать.

– Дай тебе бог! Пошли тебе царица небесная! – взмолился старик, приглашая нас в курень.

С неописанным наслаждением людей, проведших пять часов кряду в пешковой дороге, мы с Теокритовым уселись на только что скошенном сене, которым роскошно устлана была прохладная куща степного патриарха. Гостеприимство старика бахчевника тем только и отличалось от гостеприимства древних, что ноги уставших странников не были омыты руками хозяина. Золотые дыни и, как раскаленный уголь, красные арбузы были принесены нам. Вода, зачерпнутая дедом из придонского родника, была так холодна, что, как только поднесли мы ко рту по первому ковшу, наши пылавшие лица освежились мгновенно.

– Эх ты, счастье, счастье наше! – заговорил старик, устав наконец для нашего угощенья суетиться по куреню и рыскать

по длинным бахчам. – В какие-то далекие стороны ты закатилось от нас? – раздумывал он.

– Сказывали мне, дедушка, в губернии: в Москву оно от нас по каменной дороге ушло, – шутливо сказал Теокритов. – Ежели я увижу его там, поклон ему от тебя сказать, что ли?

– Скажи, родимый, скажи, потому туго нам без него приходится на степях. Ох, как туго! Ровно вот скрутит тебя кто по рукам и ногам, и хотелось бы тебе эдак-то вздохнуть по-свободнее, а он говорит: не дыши!.. Говорит – и так-то пуще того крутит тебя и жмет...

– Это тебя, дедушка, старость крутит и жмет, – подсказал внук. – Молодым когда был, тоже небось вольно дышал.

– Справедливо ты это говоришь. В молодости в самом деле вольготнее будто бы жили, потому дешевисть была во всем, милый ты мой, самая, то есть, добродетельная, благо-растворение воздухов истинно райское. Правду ежели сказать, так и тогда тоже выпадали года не очень чтобы счастливые, да все не такие, как ноне. Вам в губернии-то не видать, как мы по селам страждем. На скотинку бессловесную пойдет мор, так во всем селе ни одной лошади и ни одной коровенки не останется. Холера на людей нападет – целые дома пустеют и разваливаются, потому вымирают все до единого человека. Истинно говорю, в старину таких див мы и не видывали: реки у нас пересыхают, леса выгорают дотла, земля ничего не родит... Сказывают поученее да поблаго-

честивее кто нас: за грехи, говорят, ваши все это на ваши головы рушится. И точно, милые вы мои, велики грехи на нонешнем свете лежат!.. Чужому горю мы злорадостны, чужую беду сыскать мы злохитростны, а в старину простота была. Ям-то глубоких ближнему мало мы рыли, ног-то ему не подстанавливали... А теперь взглянешь: и неурожаи-то, и мор-то, и знаменья небесные – все это господь показывает нам и страшает, дабы мы убоялись и от похотей своих плотогодливых отреклись. Видно, други мои сердечные, по всему видно, последний конец земле настает, потому странные люди, в дальних краях какие бывают, то же и про дальние края сказывают. Немилость, говорят, божья вообще на всю землю легла, – ни к чему, сказывают, подступу нет – дорого!.. Что прежде даром давали, за то ноне деньги плати, а денег-то и нет, взять-то их у нас на степях негде... Думают так-то у нас старики-то: с голоду, пожалуй, все помереть можем, и не диво!.. Зимним так-то временем часто случается – все село на одном ржаном хлебце сидит, а у кого и хлебца-то нет; да и он, батюшка, хлебец-то, давно ли в наших сторонах гривенник пуд был, а теперь его, пудик, поедешь в город купить, рубль-целковый с собой захватимши, так тебе с целкового-то двугривенный только сдачи дадут. Вот как купцы-то городские припирают, а нам, известно, без хлебушка жить ни под каким видом нельзя. И опять же недавно, не хуже вас тоже, прохожие на бахчи ко мне заходили. Издалека, сказывали, идут, В самом Иерусалиме сподобил их бог раз пяток

побывать. Показывали это прохожие писанье такое – в церковь, говорят, иерусалимскую вовремя службы с неба упало. «Весь мир, – в писании том говорится, – несчастием поражу». Многие из нашего околотка списали себе все письмо; слухи пошли тут разные: о преставлении света толковать начали, и смута по селам раскатилась великая. Только становой наш сам поехал по селам, сходы стал собирать. «Не верьте, говорит, и не смущайтесь, а таких странных людей ловите и ко мне в стан представляйте». А не верить-то нам и нельзя странникам, потому кто по-настоящему вникнул в писание, тот видит приметы-то, как приближается к нам царство антихристово, потому приметы-то самые верные. Зимние метели все избы у нас до верха засыпают, морозы хлеба, деревья и травы дотла вымораживают, а что от морозов останется, то летние жары невиданные допекут и досушат...

Глубокая тоска, очевидно, засела в самую душу бахчевника. Оперся он локтями о свои колени и все лицо закрыл мозолистыми ладонями. Долго сидел он таким образом, не отрывая рук от глаз. Боялся как будто старик, взглянувши на божий свет, увидеть в нем какое-нибудь доселе невиданное и неслыханное в старину горе.

– И теперь еще я никак не могу освободиться от той страшной тоски, которую нагоняют на меня эти пророчества о последнем конце мира, о пришествии антихриста и тому подобном, – сказал мне шепотом Теокритов. – Мой дед особенный мастер на эти рассказы. Темными вечерами, бывало,

помню я, начнет он расписывать все эти ужасы: волосы дыбом становятся.

Я сам слишком хорошо помнил эти ужасы, чтобы не верить Теокриту. Все вдруг вспомнилось мне, и вспомнилось тем живее, что вне куреня, в котором сидели мы, все изнемогало под мучительной пыткой жгучего летнего солнца.

И так печальна была поза старика, боязливо съездившегося на каком-то отрубке, такое томящее ожидание неотвратимых страданий изображала она, что, смотря на нее, вы невольно думали: не рисует ли в настоящую минуту изображение деда картин, так поражающих простые сердца, как по мертвой молчащей дороге степной идет теперь адская сила антихриста.

– Что же, внучек, долго ты у нас проживешь? – вдруг спросил Теокритова старик. – Ты у нас долго-то не заживайся, родимый. И мне и сестре твоей большая беда от этого будет.

– Знаю, знаю, дедушка! Небось, не заживусь долго; только одну ночь переночую и уйду, – отвечал он.

– Такой-то враг лютей навязался на нас с ней, хоть в лес от него бежи! – жаловался на кого-то старик. – Бьет он ее, милый ты мой, каждый божий день; вся иссохла, голубушка, от его кулаков, а мне, кроме как «старый черт» да «лежень», от него другого названья и нет совсем.

– Знаю, дедушка, знаю. Ты уж лучше не говори мне про него. Ты шел бы куда домой да что-нибудь нам поесть приготовил. Ежели он будет там разговаривать, так ты скажи

ему, что мы деньги за постой и обед заплатим. Пришли тогда за нами кого – мы покуда здесь уснем немного.

– Господь с вами, дорогие мои! Сосните со Христом, – пожелал нам старик и отправился в выселок.

– Про какого врага вы говорили с вашим дедом? – спросил я моего спутника.

– Слишком обыкновенная история. Видите: после смерти отца и матери мы вдвоем с сестрою остались сиротами. Я, на худо ли, на добро ли, в бурсу был принят, а сестру вот этот самый дед к себе взял. Он прежде неподалеку отсюда дьяконом был, только теперь уж от места его отставили, преклонных лет и вдовства его ради. Вот и принялся он за эти самые бахчи; двор постоялый выстроил. Прошел тут о нем слух по околотку, что очень будто бы много денег нажил старик. Можете себе представить, сколько на основании этих слухов налетело к деду сватов за сестру, и мещан, и купцов, и духовных. В числе разных соискателей явился один весьма забудыжный приказный из ближнего городка. Вам, конечно, известно, что по деревням всякого, кто только марает бумагу в городском суде, барином чествуют. Вот дед и прельстился барином и отдал за него сестру с той надеждой, что внучка его тоже барыней будет и с городскими приказницами подружится. Утешительные надежды, однако ж, не сбылись, потому что барин наш расчел, вероятно, что лучше быть первым в деревне, нежели последним в городе, и бросил службу. Он, извольте видеть, не удовлетворился тем, что дед поил и кор-

мил его в городе, потому что, самому вам должно быть известно, можно ли удовлетворить барина какими-нибудь картошками? Аристократу, зятю моему, оказались необходимы деньги для поддержания чести наследственных гербов, хотя гербы его особенных позолот не требовали, ибо, – с злобой смеялся Теокритов, – гербы эти состояли всего-навсего из зеленого полуштофа да двух даже не крестообразно расположенных рюмок с отбитыми донышками на дубовом, залитом чернилами и огуречным рассолом столе. Слухи про богатство деда оказались ложны, и когда зять-барин увидел, что, кроме репы и картофеля, от деда ждать нечего, он с своими гербами переселился из города в выселок, справедливо рассуждая, что расходы нобля делаются ограниченнее, когда нобль из шумного города переселяется под густую тень зеленых сельских берез. Надобно, впрочем, сказать, что приказный не скоро решился зарыть свои административные способности в сельском уединении, а променял он городские кабаки и городскую публику на кабаки и публику сельскую тогда только, когда увидел, что те варварские тиранства, которыми он тиранил жену, не могли заставить ее вымолить ему у деда никогда не бывалые деньги. Вот теперь и засел этот зверь под сею мирною кровлей и ждет под ней, когда, как он говорит, издохнет старый черт, в поте лица построивший свой дом, чтобы завладеть его денежками. А в ожидании этой счастливой минуты барин блаженствует, глядя на мужиков, которые простодушно снимают шапки перед медны-

ми пуговицами негодяя... Впрочем, хоть и шучу я, рассказывая вам про эту каналью, все-таки признаюсь вам, чем больше я говорю про него, тем больше усиливается моя злость. Рано или поздно, чувствую я, он будет причиной какого-нибудь страшного несчастья, потому что в жизнь мою я не видал человека, который больше моего зятя был бы способен заставить меня убить себя. И теперь этот городской мерзавец, поселившись здесь, кроме того, что, как сказал дед, не дает житья ни ему, ни сестре, сделался ужасом всех соседних мужиков. Что хочет, то и берет у них, и всякий дает ему все, что он попросит, лишь бы только отвязаться как-нибудь от шаромыги. Да вот вы сами увидите эту язву; сейчас я буду иметь случай показать вам, как эта мерзость, постепенно разливаясь из городков по нашим селам, оскверняет и портит их простые, добрые нравы, – закончил Теокритов и задумался...

Я насмотрелся в разных городах на такие язвы – и потому не ощутил особенного удовольствия при этом обещании. Но, необыкновенно устав и лежа в прохладном месте на душистом сене, следовательно имея под рукой все средства уснуть сном праведных, я все-таки никак не мог уснуть. В голове моей теснилась неотвязная мысль о том, что будет тогда, когда эта городская образованность, вышедшая из-под розог и кулаков дьячков, просвирен и отставных солдат, в самом деле разольется по селам и властительно засядет под гостеприимными елками питейных домов?..

На постоялом дворе, куда нас с Теокритовым очень скоро пригласили обедать, встретили мы обыкновенную обстановку и обыкновенные сцены. Заезжий мужик после благодарности за хлеб за соль, назвал при расчете живодером и лупилой работника, который обобрал его за эту хлеб-соль. Маленький тощий солдатик с птичьим лицом занял после его место за столом.

– Барыня-сударыня, жenuшка-красавица! Кушать пожалуйте-с! – кричит солдатик на двор в растворенное окно.

На его зов вошла в избу молодая женщина в ситцевом платье.

– Что это у меня какая жена умница, братцы мои, – сказать не могу! – рекомендовал публике солдатик вошедшую женщину. – Словно барыня какая, сейчас умереть!

– Будет, будет хвалить-то! Ешь знай, – говорила жена.

– И есть будем и хвалить будем. Поверите ли, господа, – продолжал он, налегая на щи, – такой бабы, мастерицы такой на всякие господские платья, одна дохнуть, в жисть не видал!

Только что отобедавший мужик слушал солдатскую похвалу с видимым удовольствием, между тем как работник, казалось, весьма сомневался в возможности обладания такой редкой женой, и в то же время, не желая из деликатности высказать свои сомнения, он смотрел на солдата и старался подкашливанием и кивками головы дать ему знать, что он понимает и ценит счастье быть женатым на такой умнице и

мастерице на всякие господские платья.

– Веришь ли, друг ты мой сладкий, – обратился солдатик исключительно к мужику, – когда я, то есть, сватался за нее в Петербурге, оторопь меня великая забрала. Вот, думаю, по роже сейчас царапнет меня. Как ты, скажет, смеешь, солдатик ты эдакой разнесчастный, свататься за меня? Ей-богу!.. Потому (как тебя зовут, дядя? Петр, говоришь?), видишь ты, Петр, люди дорожные мы с нею теперь; иначе посмотри-кась ты на нее, во что одета она. Встань, покажись дяде Петру, – ему ничего, показаться можно. Ведь это, братец ты мой, знаешь, материя-то какая? Ты такой сроду и не видывал. Вот какая эта материя! Ну, а в то время, приятель ты мой дорогой, когда я сватался за нее, словно барыня какая была она расфуфынимши. Сейчас издохнуть! Шляпка на ней была как кровь красная, – платье, с места мне не сойти, шелковое, самое дорогое! А? Каково?

Восторг солдата в эту минуту дошел до высшей степени. Он бросил ложку на стол, прворно выскочил на середину избы и продолжал:

– Юбка у ней, землячок, так, то есть, распушилась, обхватов примером в пять либо в шесть, словно сена копна, – ты бы, милый человек, со всей семьей досыта нажился там. Только смотри ты теперь, какой я малый не промах. Другой бы что тут стал делать, а? Удрал бы, а я, бра-е-ц ты мой, учти-во так-то, по политике, вычистил сапоги ваксой (ты, поди, не знаешь, и вакса-то что такое?) и говорю ей: так и так, говорю,

сударыня! Насчет законного брака переговорить с вами позвольте; а сам ногою-то дрягаю, сапог-то, значит, ей светлый показываю... Вот я какой!

И солдатик, рассказывая это, заливался тем добродушным смехом, каким обыкновенно смеются все счастливые люди.

Мужик, слушая солдата, видно удивлялся его беспримерной храбрости, с которой он сватался за свою барски одетую жену, а суровое лицо работника постоялого двора как-то насмешливо и вместе крайне завистливо уставилось на рассказчика. Кухарка, подавши гостям щи, стала у перегородки, сложила на груди свои так редко праздные руки и умиленно вздыхала, потому, может быть, что ей было не суждено не только носить, но даже и видеть такое богатое платье, которое украшало солдатскую жену, когда она была невестой.

– Вот оно что значит военная служба-то! – удивлялся солдат после некоторого молчания. – Ко всему она человека приучит. Ты давеча, дядя Петр, обедал, смотреть на тебя тошно мне было. Пыхтел ты над щами-то, ровно в воз тебя запрягли. А я вот, видишь, как живо дело обделал, потому солдату много ли надо? Ложечек триста свистнул да по избе шагов эдак двести отмотал скорым маршем – и аминь. Так-тось! Не очень мы, служивые люди, любим раздобарывать-то. За раздобары-то нас недолюбливают: бывало, эдак и по спине нашего брата за прохладу-то гладят. Что ж такое? – спрашивал солдат у дяди Петра, как будто самому ему дядя

Петр жаловался на то, что ему за прохладу спину гладили. – Не доводи себя до этого – вот и не будут.

– Это точно, – согласился дядя Петр. – Вся сила в эфтом.

Работник подтвердил это положение знаменательным кивком головы, а кухарка, лишь только солдатик упомянул про глажение, тихомолком захлюпала.

– Да, бишь и забыл я вам давича про жену-то свою до-сказать, – неутомимо продолжал служивый, закуривая коротенькую трубку. – Вот теперь сам уж ты, Петр, все видел: и в какое она платье одета и какая она умница. Только и черти же необузданные эти мужичишки степные, посмотрю я на них! И ты, Петр, тоже, надо думать, дуб неотесанный, потому ты тоже мужик и в политике толку не знаешь. Ведь, лошади вы дикие, вы бы хоть то подумали: чем, дескать, мы, мужики, носы-то свои утираем? Ведь вы их ногами утираете-то!.. Сейчас издохнуть, ежели все вы, мужвари, не хуже идолов в тысячу раз! Да что с тобой толковать, с дураком. Ты, статуй эдакой деревянный, поди прежде в Питере да в Москве с мое поживи, тогда и приходи ко мне – я, может, с тобой и потолкую безделицу...

Дядя Петр действительно как деревянный статуй слушал ругательства солдата, ни слова не отвечая на них. Неожиданный переход от обыкновенного разговора к брани ошеломил его до такой степени, что он мог только пялить на солдата свои большие смирные глаза и улыбаться ему при каждом чествовании самым жалостным образом.

– Ты сам посуди: ну, не черти ли вы, степнина нераспаханная? – с большим ожесточением спрашивал солдат.

– Будет тебе, служивенький, ругаться-то. Што ты в самом деле пристал, государев ты воин храбрый, – проговорил наконец Петр с самой умиловительной улыбкой. – Ты вот лучше про жену-то свою еще бы что рассказал.

– Про жену? Про жену я тебе и толкую, шут новой ловли! Разве ты не видишь, к чему я речь подгоняю? Как же ты можешь теперь понять, куда я еду и зачем? В Астрахань я ездил к родным жену показать. У меня в Астраханской губернии, значит, родные есть: мать, братья женатые, сестры – такие же серые волки, как ты. Знаешь ли ты, сколько верст будет от Питера до Астрахани? Молчи уж лучше: где тебе знать, дураку! Мы вот с женой и поумнее тебя, да и то верстам-то счет потеряли. Только проехал я эти версты или нет, – сказывай? Проехал, мол. Не должны ли родные мои всячески уважить меня за это, – сказывай? Должны, мол. Так! Ну, слушай теперь. Приехал я к ним, пожил два дня, а на третий старший брат мне и говорит: «Ты, говорит, брат, ежели в долгую побывку приехал, так фатеру себе ищи». – «Как так?» – говорю. «Да так, говорит, милый ты мой, самим нам есть нечего, не токма что тебя с женой кормить». Я его сейчас и спрашиваю: «В солдаты, спрашиваю, не я за тебя, музлана, пошел? Не я разве, говорю, заместо тебя, может, на сраженья ходил?» – «Точно, говорит, это ты сказал настоящее дело; только ты прости мне мои слова грубые, потому, дескать,

неурожай у нас каждый год, почитай, – малые дети наши с голоду мрут. Одного тебя мы бы, говорит, кое-как продержали, а уж с женой никак нам это, говорит, невмоготу». Очень я удивился, братец ты мой, как это он такие глупые речи про жену, не подумавши, разговаривает. «Фатеру, говорит, сыщи!» Чудно, право, мне это показалось. «Да ты, спрашиваю, видал ли когда в избе-то своей такую барыню, как моя жена? Как же ты, не рассудимши этого, фатеру мне велишь искать?» – «Ничего, говорит, не поделаешь. Ежели, примером, ты с женой будешь жить с нами, до новой ржи мы ни за что не дотянем». – «Да черт ты эдакой! – согрешил я тут, изругал его. – Ты, говорю, рассуди попристальнее-то: ведь она все равно что барыня». И тут не понял, заплакал только. Мать тоже пристала ко мне, и вся семья реветь по-коровьему принялась. «Мы, говорят, душою вам рады, да помереть с голоду боимся!» Плюнул я на них и уехал. Вот все вы, мужики, какие-то шуты несуразные! С вами, с дураками, сговоришь, што ли?

– А может, у них взаправду на мале хлеба-то оставалось? – не без страха возразил дядя Петр.

– На мале! Што ж такое? Ты прежде спроси, кто меня от запоя лечить выучил, да тогда и говори, что на мале. Жена меня выучила, а ей про то ее бабка сказала. Вот она у меня какая! Я тебе про это расскажу сейчас. Соскучилась ты у меня в дороге, барыня-сударыня, – обратился солдатик к своей жене, которая окончила в это время обед. – Сосни-ка

ступай в телеге, там тебе прохладнее будет. Только ты погоди маленько, я тебя потешу немножко.

И он стал в бойкую позицию плясуна, подперся руками в бока и принялся выбивать ногами частую дробь.

Ой, я не сам трясусь,
Меня черти трясут... –

приговаривал с азартом солдатик. Жене, очевидно, пляс его доставлял большое удовольствие, потому что и она хлопала в такт ладонями и заливалась звонким, веселым смехом.

Суровый работник снисходительно смотрел на эту сцену, дядя Петр добродушно удивлялся ей, а кухарка положительно завидовала.

– Будет, будет тебе, шлопутник ты эдакий! – упрашивала мужа солдатка. – Со смеху ведь уморил меня.

– Не прикажите казнить, прикажите миловать, барыня! – отвечал плясун с видом человека, умоляющего о прощении, и с последним словом еще чаще затопал он ногами по шаткому, скрипучему полу постоянного двора и еще громче заорал свою приговорку:

Я не сам трясусь,
Меня черти трясут!

Жена не отставала от мужа. Звонче и веселее прежнего

засмеялась она и усиленно захлопала ладонями.

– Што это ты, братец, безобразничаешь здесь? – величественно спросил у солдата вошедший в эту минуту человек в суконном вытертом сюртуке с медными пуговицами. – Я вашего брата за безобразие в три шеи со двора гоню.

– Вот он! – шепнул мне Теокритов. – Пожалуйста, постарайтесь не ссориться с ним. Очень дерзкое животное.

– Жену, ваше высокоблагородие, молодую тещу, а не безобразничаю, – отвечал солдатик, вытянувшись в струнку. – Она у меня, ваше высокоблагородие, умница, все равно, почитай что барыня. Не тешить ее мне ни под каким видом нельзя.

– Уж ты лучше, крупа, с балами-то своими дальше проваливай, а то я тебе шею накостыляю, – говорили медные пуговицы.

– Напрасно обижаться изволите, ваше высокоблагородие! – застенчиво говорил солдатик. – Ни в чем перед вашей милостью не причинны.

– Не причинны! Знаю я вас, куроцапов. Еще с двенадцатого года в казну-то вы задолжали крупой, и теперь не можете заплатить. Ха-ха-ха! За этот долг я тебя и вздую сейчас. А то толкует туда же: не причинны, говорит...

Голос обладателя медных пуговиц был необыкновенно строг и серьезен. Солдатик присмирел и всячески старался удержаться от возражений, потому что движения, которыми приказный пополнял свои фразы, носили не менее стро-

гий и серьезный характер. Публика постоянного двора смиренно стояла на своих местах и со вниманием слушала, как барин распекает солдата. Вдруг барин неожиданно обратился к Теокритову.

– Ты кто такой? – грозно спросил он его.

– Все тот же! – отвечал Теокритов. – Залил глаза-то: родных перестал узнавать.

– А, это ты, брат? За сестру да за деда заступаться пришел. Хорошо! Ты кто такой? – кстати спросил приказный и меня. – Паспорт у тебя есть?

– Есть, – отвечал я. – Вот он.

Я показал ему свою толстую дорожную дубину.

– Ха-ха-ха! – разразился приказный. – Вот так молодец! Откуда ты? Хочешь, я тебе за твою смелость вина сейчас поднесу?

Я молча отодвинулся от него. Моя палка со свистом завертелась между моих пальцев.

– Вишь, спесивый какой! – бурчал он, злобно всматриваясь в меня.

Сестра Теокритова сидела в это время рядом с ним. Они шепотом разговаривали о необходимости разлуки, просили друг друга писать как можно чаще и не печалиться. Обняла брата несчастная женщина и ласкала его тем кротким взглядом, которым обыкновенно смотрят женщины на любимого человека, надолго или, может быть, навсегда прощаясь с ним.

– Как я буду тосковать об тебе! – шептала она. – А муж не велит мне говорить про тебя, он меня скоро в гроб вгонит.

Молодой человек мог сказать только одно слово в утешение сестры:

– Терпи. И тебе и ему бог за все заплатит.

– Я и терплю. Я ко всему привыкла, – говорила бедная женщина с той тихой покорностью тяжелой судьбе, которую некогда проявляли мученики.

– Так ты, брат, заступаться за сестру пришел? – снова начал приказный. – Я за нее заступаться должен: муж, а не брат. Столоначальником в палате был, студентом из семинарии вышел, а этого не понимаешь.

Теокритов молчал.

– Встань-ка, жена, на ноги, покажись мне: я на тебя посмотрю. Видела ты, как солдат сейчас свою жену тешил? Потешь теперь ты меня. Солдат! Какую ты побаску давеча приговаривал?

– «Ой! Я не сам трясусь, меня ч...» – начал было солдатик.

– Молчи! Дальше сам знаю. Пляши, жена! Брат к тебе в гости пришел.

Ой! Я не сам трясусь,
Меня черти трясут,
В буерак тащат,
Колотить жену велят.

И бедная женщина оставила брата и начала плясать под

песню мужа. Лицо Теокритова побледнело и как-то особенно передернулось.

– Вот какие веселые мы с женой! Мы с нею всегда так-то веселимся. Так ведь, жена? Заступаться, друг мой сердечный, нечего за нее. Она сама любому человеку глаза выцарапает. Вот так всякого возьмет да по роже и цапнет. – При этом приказный ударил жену по лицу. – Это я для того ударил ее, чтобы тебе не ходить понапрасну. Пришел заступаться, так заступайся. Подавай теперь, Акулина, обедать. Мы с женой закусим немного, – обратился он к кухарке. – Милости просим обедать с нами, братец родимый.

– Спасибо за ласку! – отвечал Теокритов. – Вижу я, совсем ты зверем сделался, а с зверями обедать я не могу.

– Слышишь, жена, что твой брат говорит? Зверем он пугает меня, чтобы разлучить нас. Какой же я зверь? Зверь законов не знает, а я знаю. Вот тебе для памяти, чтобы и ты законы знала.

И он опять ее ударил.

– Ох, грехи наши тяжкие! – шептал дед, раскачивая свою седую голову.

Бедная женщина старалась удержать слезы; моя палка сама рвалась к бокам негодяя.

– Слышишь, жена, что дедушка говорит? Грехи, говорит, у него тяжкие есть. Ты что же их не замаливаешь? Вот тебе за это еще!

Без малейшего участия к семейной драме тощий солда-

тик с жаром рассказывал дяде Петру и суровому работнику о том, как жена научила его лечить от запоя.

– Барин мне давеча помешал, – басисто говорил работник, – а то я тебя просить хочу: полечил бы ты меня, потому пью я, братец мой, здорово запиваю! Я тебе чем хошь отвечаю, только вылечи.

– Кормилец ты мой! – шептал дядя Петр. – И меня полечи. Рубашку с крестом с себя сниму и тебе отдам. Помоги.

– Это можно! Что ж такое? По рублю-целковому с вас за науку кладу. Страсть как дешево!

– Законы-то ежели все подводить, так еще хуже бы женам от мужей пришлось, – поучал приказный на другом конце избы. – Так, Акулина?

– Што и говорить, батюшка! – смиренно отвечала кухарка. – Наша сестра глупа, кормилец ты мой; нашу сестру добру учить надоть.

– Видишь, жена, что Акулина говорит? – обратился приказный к жене. – Умница Акулина. Поди, садись обедать со мной, а ты подавай нам, жена, служи нам, потому ты глупей Акулины. Она законы знает, а ты не знаешь. Ступай.

И он вытолкнул ее из-за стола. Акулина с робостью заняла ее место.

– Сам я, братцы мои, до женитьбы здорово заливал, так-то здорово – бесился даже, когда, бывало, запью!.. Придет это мне, бывало, на ум: ах, мол, выпить бы теперь куда хорошо! А денег нет ни копейки. Завертит так-то, бывало, на душе,

так-то зло завертит: жизни не рад! И вином это сейчас так ли сладко запахнет, – дело на ум нейдет. Я же, милые мои, сапожное дело в полковой швальне работал; так штрумент, какой под руку попадет, возьмешь, да в кабак его и ухнешь... Как же меня за это паривали, бывало, страсть!.. Экой зверь лютый! – шепотом заметил солдатик про приказного, – как это здорово знает он к бабе придраться! Вишь, как колотит сердечную!.. Только что же? Уймушь на неделю-другую после бани-то, а там опять за свое. Уж и знал, что шкуру с меня за казенные штрументы до самых ног спустят, а не стерплю, потому по целым дням жжет это нутро-то. Теперь, слава богу, прошло! Только как жена дала мне лекарство это бабкино выпить, что только сделалось со мною – сказать не могу! Обмер я, братцы мои, и упал; упал и ничего-то не помню я, что было со мной. Встал только я, а жена мне и говорит: «Смотри, говорит, кто в твоём сердце сидел и водки спрашивал». Гляжу я, а червяк-то запойный и ползет по полу, такой-то ли скаред страшный, ей-богу, мышь не мышь, червь не червь, так гадина какая-то в шерсти вся и носом водит-водит так-то ли пристально: «Где, мол, это я нахожусь? Есть вино-то здесь, што ли?» Как это прихлопну я того червяка сапогом, а жена...

– Вот же тебе, собака ты бешеная! – вскрикнул вдруг Теокритов.

Я совсем было заслушался солдатского рассказа и не видал дальнейших проделок приказного с своей несчастною

женой.

– Уходите поскорее, – торопил меня Теокритов. – В свидетели, пожалуй, зацепят вас, в острог еще засадят...

Лицо сестры его было все в крови. Барин держал в руках столовый ножик и орал:

– Засвидетельствуйте, православные! Острым орудием удар мне нанесен.

Сквозь сюртук его, начинаясь немного пониже правого плеча, просачивалась струя крови, затемняя собой блеск медных пуговиц.

– Вона, малай, разбой тут приключился! – с ужасом закричал солдату дядя Петр. – Што ты теперь будешь делать?

– Бери-ка скорей шапку да запрягать побежим, – суетился солдатик. – Вот что делать тут нужно.

И они выбежали из избы.

– Острым орудием удар мне... Ой, батюшки! Свет в глазах меркнет... – кричал приказный, растянувшись на лавке.

Вместо того чтобы остаться на месте до конца и быть добросовестным свидетелем дела, я бессознательно тоже выбежал из избы и усиленно зашагал по дороге, потому что живо вспомнился мне в это время маленький бедный домишко сестры моей, к которой я шел теперь, – вспомнилось, что теперь именно то время, когда в уездных городках расходятся по домам из судов пьяные приказные бить своих жен. И таким образом долго бежал я в беспамятстве, стараясь предупредить приход мужа сестры моей, тоже приказного...

Горе пьющее и горе излечивающее, то есть тощий солдатик и дядя Петр, в одно время со мной вылетели из ворот вскачь на своих поджарых лошаденках и стремглав бросились в разные стороны проезжей степной дороги...

...Шел я – и опять думал о скорбевших некогда и скорбящих теперь на этой дороге. В ее застланной пыльными туманами дали рисовались мне лица, захлестанные зимними вьюгами и проливными летними дождями, иссушенные летним зноем и страшным трудом – идти по ней, бесконечной, заваленной или снежными сугробами, или песками горячими.

Давнишний житель больших городов, я начал уже забывать картины и лица степной дороги. Моя память отказывалась напомнить мне подробности разнообразного горя, которое так давно ходит по этой дороге, измученное, истерзанное, обезумевшее и окаменевшее в своих страданиях до полного равнодушия к ним.

Волнами света залило пустыню яркое солнце. Каждая песчинка блещет в глаза граненым алмазом, но свет ничуть не развеселяет картины. Угрюмо хмурятся густые вешки, а издали, человек словно, машет и зовет вас к себе великан-верста, как будто от тяжелого удара чьего покачнувшаяся набок. Дощечки, прикрепленные к ее верхушке, с одной стороны обиты кем-то; самая верхушка, в этом месте раздолбленная плотником-дятлом и прогнившая, кажется вам смертельную рану человека, у которого разнесен череп лихим кистенем лихого

степного молодца...

Все более и более я начинаю припоминать вас, лица и сцены проезжей степной дороги!

Позади меня раздались чьи-то спешные шаги. Со мной поравнялся человек огромного роста. Серое сукно его свиты изветшало до такой степени, что кажется сотканным из паутины. Из его лаптей выглядывали наружу пальцы, сбитые дорожными камнями, исколотые погоревшей и колючею травой дорожных тротуаров.

Всего меня окинул странник своим острым взглядом, так что, кажется мне, я никогда не забуду этого лица, почерневшего на солнце, как сажа, обросшего густой черной бородой, серьезного, каменного, так сказать, лица, которого так боятся крестьянские дети, когда они, оставленные отцами и матерями домоседничать, вдруг завидят, что с того конца деревни идет к ним какой-то незнакомый, пугающий дядя. Смотрят, смотрят издали дети, как подходит к ним дядя своими широкими, мерными шагами, и когда он подойдет к ним настолько, что они увидят его бесстрастное, угрюмое лицо вместо ожидаемых ласковых лиц отца и матери, – стремглав бросаются от него в разные стороны и мгновенно запрятываются по молчаливым гумнам, по темным хлевам, по жарким до удушливости подпечьям. А молчаливый дядя равнодушно идет по оставленной деревне, нисколько не интересуясь тайными причинами, которые не дают обрушиться ее старой деревянной церкви, – так заботливо наклонил он вниз свою

голову, что ни резные коньки, украшающие верхи деревянных изб, ни длинноногие солдатики, измалеванные зеленой краской на скрипучих воротах, очевидно вовсе не занимают его, потому что одинокая бродячая жизнь приучила странника к молчанию. Дива разных краев сделали его равнодушным к обыкновенным видам степного села. Смотря на нашу степь, он, может быть, вспоминает теперь пустынную степей прикаспийских или в локов соловецких; солнце, позолотившее теперь старую, развалившуюся сельскую церковь, переносит его мысли под солнце Киева или даже Иерусалима, еще более ярко позолотой обливающее там великолепные храмы, а потому и живой человек не оживил проезжей степной дороги. Молчаливо печальный и равнодушный, как самая дорога, спешит он мимо меня смотреть новые страны, новые дива. И опять я остался один...

Я стараюсь определить себе, какой именно из типов проезжей степной дороги промелькнул сейчас мимо меня. Будь это, думаю я, мещанин-одиночка, оплевавший несправедливый приговор мироедов, присуждающий его в солдаты без вины и очереди, у него непременно в руках была бы гармоника, а из длинного голенища выглядывал бы узорчатый чубук самодельной кореньковой трубки. Знаю я: весело он вступил бы со мной в разговор, назвал бы себя главным приказчиком самого богатого в околотке купца, а после выкуренной пополам трубки и лихим манером сыгранной и спетой песни, он сперва обиняками, а потом, не утерпевши, пря-

мо рассказал бы мне свое лютое горе, которым, говоря словами его песни, он, «мальчонка разнесчастный, своей родины лишен»... Точно так же нельзя было назвать угрюмого человека и тем божьим странничком, жизнь которого прошла в непрерывной молитве и в трудных переходах из одного монастыря в другой, потому что такой странник при встрече со мной непременно приветствовал бы меня добрым желанием мира и спасения души моей. Может, впрочем, это был несчастный смерд, сорвавшийся с барской рогатки. Этот смерд действительно мог быть таким же печальным и молчаливым, как и человек, встретившийся со мной, но только не прошел бы он мимо меня, не сорвав с меня моего короткого немецкого сюртука...

– Кто же это, кто же это такой? – усиленно добивался я.

Наконец я вспомнил тебя, диво степное, молодец-непоседа! Редко родишься ты у нас на степях, и недолго дивимся мы на тебя, смотря на твою необыкновенную сметку во всех делах и на твою необыкновенную лень ко всяким делам. Недолго смеемся мы твоему редкому, непонятному нам разгульному веселью, и тоску твою, всегдашнюю почти, редко нам приходится до конца просмеять, потому что еще в молодые годы вдруг скрываешься ты навсегда из родимых мест и уходишь куда-то размыкивать и тоску твою чудную, и веселье твое беспричинное. Долго после твоего ухода дивимся мы на тебя, долго рассуждаем и смеемся жизни твоей, нелюдской до конца от начала, когда раскладываем на

весь мир подать, какую твоей душе хитрой платить следовало; а тут нам изредка слухи про тебя от странных людей, от побывочных солдат, от годовых извозчиков какие-то чудные идут.

– Видели мы, – одни сказывают, – Мишку Кочетова в Иркутской губернии. Такой-то ли купчина богатый стал, рукой не достанешь. Поклон всему селу с нами послал, а Николаю-угоднику ризу золотую, камением драгоценным изукрашенную, да в церковь приходскую на украшение ассигнацией тысячу рублей, да приятелю своему сладкому Ваньке Сизому, с которым одним только во всем селе и водился он, сто рублей да синюю чуйку, по краям оторочка черного плису.

– Иду я так-то, братцы мои, – рассказывает мужикам и мещанам в сельской лавке отставной солдат, – дело под вечер было, и думаю: как бы до ночи добраться, потому степью я шел, самую то есть безлюдную степью. В другой раз целый день по той степи идешь, ни кола ни двора не увидишь. А город тот, к которому я подходил, Бендерами прозывается: от турков он нашими взят. Только и слышу я, словно бы колокольчик звенит: едет, значит, кто-нибудь, подумал я и обрадовался, потому редки в тех степях живые люди. И точно, вижу я, тройка мне навстречу катит с барином. «Стой, ямщик! – кричит барин ямщику. – Есть, спрашивает, огонь у тебя, солдат?» – «Извольте, говорю, ваше благородие». Раскурил я ему трубку; трубку, огниво и кремень купил он у меня, потому забыл в городе снаряду-то этого закупить, а сам

так-то ли пристально в меня всматривается. «Я тебя, говорит, знаю, солдат. Ты, говорит, из-под Усмани, а зовут тебя Трофим Шаромыга?» – «Точно так, говорю, ваше благородие!» Приказал он тут ямщику в степь лошадей своротить и распречь их. Слуге велел самовар ставить, а меня рядом с собой посадил и разговор про наше село повел. Смотрю я на него и думаю про себя: где это я того барина видал? А он-то меня угощает: чаю и вина даже досыта я у него напился. Целовал он меня все равно как родного, как прощаться стал, а я все дивлюсь, за что это господин полюбил меня! Да уж, как в телегу стал он садиться, и говорит мне: «Вот что, говорит, Трофим! Ты теперь к родным в свое село идешь; там и у меня родители есть. Я, говорит, Михайло Кочетов. Знай ты это!..» Пошатнуло меня даже от этих слов: испужался очень. «Не пужайся, говорит, Шаромыга! Вот тебе на дорогу десятка, а вот это, говорит, матери моей в гостинец снеси», – и еще сторублевую подал. В первый раз, братцы мои, сторублевую я увидал тут. Вдосталь дорогой я на нее насмотрелся. Иду, иду, бывало, скучно мне делается, – я выну ее из нагрудника и примусь глядеть.

– Какая же она? – спросил кто-то из слушателей.

– Радугами, братец ты мой, красными вся изукрашена, – отвечает солдат. – Да словами про нее и изобразить тебе невозможно. Ты поди к Кочетихе, она тебе даст посмотреть, слова не скажет. Она ту бумажку до конца света не станет менять.

– Ну уж, братцы, чуден Кочетов! – продолжается речь про Михайлу. – Полетал-таки по чужим сторонам Кочеток наш!

– А слышали, что про него извозчики прошлой зимой толковали? – следует вопрос.

– Что, что такое?

– Ехали они, сударики мои, из Москвы по тульской дороге. Каменка тут, а по обеим-то сторонам ее лес. Только и видят они, в сторонке от дороги, в буерачке, кучка народу стоит. Слезли взглянуть: что, дескать, такое делается в буерачке? А тут земские из ближнего села с понятами наехали мертвое тело поднять. Как раз с теми извозчиками крестный Михайлин был, тоже извозчик, богатый мужчина из-под Рязани, с стариком-то с Кочетом самыми, то есть, закадычными приятелями считались. Смотрит он на тело и признает, знакомое будто чье-то лицо. Принялись тут земские раздевать мертвое тело и одежду записывать, а крестный на мертвецех крест увидел точь-в-точь такой, какой он Михайле на крестины купил. Когда извозчик рассказывал нам про смерть крестника, дуже просил всех, чтобы мы матери Кочетова не разбалтывали, как ее сын помер, потому и теперь все еще поджидает старуха сына и каждую службу церковную свечи про его здоровье ставит.

– Вот каков был конец твой, голова удалая, до новых людей и до новых краев жадная! Упокой господь душу твою ходячую! – желают Кочетову лавочные разговоры.

А там, смотришь, в той же лавке через год опять толкуют:

– Ведь ошибся, братцы, извозчик-то, про смерть Кочетова что сказывал нам. Видели его наши богомолки, когда в Соловецкий ходили, под городом Устюгом: «В иеромонахи, говорит, за грехи мои произведен...» Матери своей еще денег с ними прислал.

И много их, таких молодцов, расхаживало некогда по проезжей степной дороге и теперь расхаживает по ней. Много их сложило на ней свои буйные головы, о чем так жалобно говорят наши степные песни...

Едет мужик по дороге, а издали навстречу к нему подходит высокий зеленый курган. Взглянет лишь только мужик на этот курган – и все песни, которым он еще ребенком учился, все рассказы, каких он от слепых стариков наслушался, – все вспоминаются ему в это время. Вспомнятся ему эти песни, и запоет мужик про смертный завет молодца удалого, которым он просит положить его на вечный сон между трех дорог, «меж московской, астраханской, славной киевской...»

Едет мужик и поет – поет и вспоминает, как ходили по степным дорогам молодцы, курганами теперь зелеными плотно прикрытые...

Иду я и пою, как ходили по степным дорогам молодцы, курганами теперь зелеными плотно прикрытые, пою и вспоминаю, как, по рассказам девяностолетней бабки моей, гибли они на проезжей степной дороге и разными одиночками и дружными гурьбами...

Страшно мне идти по тебе, пустынная, молчаливая степь!

Слышу я, как сверху, из-под Москвы должно быть, звонко скачут за мной лихие конники запорожцы, а снизу, из Аст-рахани, словно волжские грозные волны, плывут прямо на меня беспощадные ватаги проклятого Стеньки Разина!..

Но я болезненно забылся в твоей тайной, подавляющей пустынности, родная степь! То шагает куда-то нынешний стройный батальон, сверкая светлыми дулами, кроваво освещенными последними лучами заходящего солнца...

Эх ты, проезжая степная дорога, широкая, вдоль и поперек потом и кровью залитая! Когда это так же часто будет ходить по тебе светлая радость людская, как часто ходит теперь по тебе людское темное горе!..

1862